



**ВИКТОР
ПРОНИН**

**БРЫЗГИ
ШАМПАНСКОГО**



МОСКВА 2022

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П81

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

www.eksmo.ru

 **vmirefiction**

Иллюстрация на обложке *Алексея Дурасова*

Пронин, Виктор Алексеевич.

П81 Брызги шампанского / Виктор Пронин. — Москва :
Эксмо, 2022. — 480 с.

ISBN 978-5-04-166532-6

Он приехал в Крым отдыхать. И сначала все было как надо — солнце, море, красивые девушки. Но вот случайно в ежедневнике директора пансионата он увидел свою фамилию. Настоящую фамилию, которую знали лишь те, у кого было, что ему предъявить. Это значит — его ищут. Когда-то у него был общий бизнес с крутыми ребятами. Многие из них потом «отвалились». Разумеется, не по своей воле: кого-то взорвали с машиной, кого-то застрелили в упор, кто-то бесследно исчез — все в духе времени... И вот теперь из всей компании осталось только двое — он и его противник. Узнать бы, кто он. Потому как времени осталось в обрез — только, чтобы успеть выстрелить друг в друга...

УДК 821.161.1-312.4

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-166532-6

© Пронин В.А., 2022

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2022

Нас было много на челне.

Иные парус натягали, иные просто умирали. Их, вернее, убирали. Чтоб не мешали. А они мешали — своим существованием. Не выдерживали схваток с собственными слабостями, милыми такими недостатками — недержание слова, недержание языка, недержание денег. Деньги не любят солнечного света, свежего ветра, громких голосов. Они предпочитают тишину и полумрак. И еще деньги не любят, когда их называют деньгами.

Лучше их никак не называть.

Даже употреблять слово «они»... Нежелательно. У них свое понимание жизни. Понять их законы невозможно, лучше и не пытаться. Этого они тоже не любят — нервничают и исчезают, чтобы вынырнуть в совершенно неожиданном месте, в непредсказуемой компании и опять же с непонятной целью.

Деньги не могут существовать сами по себе, они питаются кровью человеческой, страстями и, простите за глупое слово, — мечтами, успехами и поражениями человека.

Да, нас было много на челне.

Но мы не знали законов денег, вернее, больших денег. А деньги и большие деньги отличаются, как небо и земля. Потом нам вдруг стало тесновато. И хотя нас становилось все меньше, ощущение тесноты не исчезало.

Более того, оно делалось все нестерпимее. Это чувство мучительно требовало выхода.

И оно этот выход находило.

Теперь я остался один. Наверное, бывает и так. А ведь прошло совсем немного времени... Года два, может быть, три.

И я один.

Лежу на голых камнях коктебельского пляжа и чувствую себя каким-то чудищем, выброшенным штормом из морских глубин. Третий день сильный ветер, злая волна, на пляже почти никого, и только мое отощавшее тело с бестолково разбросанными руками-ногами украшает пустынный пейзаж. В сентябре здесь всегда ветры, солнечные ветры из южных стран. В Турции опять землетрясение, а сюда докатилась лишь морская рябь — мутная, теплая, безобидная.

Подо мной — грязноватая, бесформенная галька Дома творчества писателей. Когда-то здесь был прекрасный черный песок, но его вывезли на строительство дач и завезли щебень с ближайших карьеров. За двадцать лет море кое-как обкатало острые камни, и теперь на них можно лежать. Но сущность щебня осталась прежней — каждый камень так и норовит впиться в тело каким-нибудь отупевшим своим острием. Пройдет сотня лет, и, глядишь, здесь будет вполне терпимый пляж.

Дождаться бы...

Но это я ворчу, ворчу, рассматривая гальку прямо перед моими глазами. Между камнями мятая пробка от бутылки, осколок стекла, ржавая женская шпилька. Черные верткие жучки бесстрашно протискиваются в щели между камнями, не боясь быть раздавленными, не подозревая, что человеческая ступня легко перемещает камни, которые кажутся им такой надежной защитой. Не знают, бедные, не знают, глупые, что надежных защит

не бывает, как не бывает надежных крыш — уж об этом-то я могу судить со знанием дела.

В пяти метрах от меня лежат на камнях несколько загорелых до черноты девушек. Я бы даже сказал, излишне загорелых, у некоторых на лбу, на щеках проступили сероватые пигментные пятна — явный перебор. Видимо, здесь они не первый месяц. Неужели можно столько загорать?

Надеваю темные очки, купленные когда-то на неаполитанской набережной, хорошие очки, из настоящего, чистого стекла. Теперь я могу рассматривать девушек настырно и безнаказанно. И я рассматриваю их голые плечи, ягодицы, бедра и прочие достоинства. Все открыто, все обнажено. Это не нудисты, нет, на них купальники, но какие-то своеобразные. Верхняя часть купальника отсутствует вовсе, а нижняя представляет собой два шнурочка — один проходит по талии, а второй утонул где-то между их достоинствами. Девушки знают, что я их рассматриваю, и принимают причудливые позы, чтобы солнце бесстыдными и жаркими своими лучами дотянулось до самых сокровенных мест, чтобы и самыми сокровенными своими местами похвалиться по возвращении на Большую землю.

Неужели найдется воздыхатель, который и туда заглянет, чтобы убедиться — и там все загорело? Нет, ничто во мне не вздрагивает, ничто не откликается на эти невинные, в общем-то, призывы. Я пуст, как вон та пивная бутылка, которая безвольно ворочается в мутных волнах, поблескивая зеленоватыми боками.

— Не делай этого, — попросил он, не оглядываясь. — Будешь сожалеть. Если хочешь, я исчезну. И ты никогда меня больше не увидишь, никогда обо мне не услышишь.

— Согласен, — сказал я и нажал курок. Я знал, куда нужно стрелять, чтобы всем было хорошо. Он больше

ни о чем не просил. И свое обещание выполнил — я его с тех пор не встречал и ничего о нем не слышал. Откуда мне было знать, что он и мертвым умудрится о себе напомнить страшновато и опасно?

А сколько нас было? Человек семь?

Да, нас было семь человек.

Иные парус напрягали, иные тихо исчезали...

— Молодой человек, который час? — спросила девушка с раздвинутыми навстречу солнцу ногами, спросила, не оборачиваясь, не глядя, но всем своим телом меня видя и ощущая.

— Половина второго, — обычно я не ошибаюсь больше чем на две-три минуты.

— О! Скоро обед! — обрадовалась девушка и, сдвинув потрясающие свои ножки, перевернулась на живот. — А вы где обедаете?

— В столовой.

— О! Вы — писатель?

— Спасатель.

— Кого спасаете?

— Себя в основном.

— Успешно?

— Как видите.

— А от чего спасаете?

— От смерти.

— Вы боитесь смерти? — Ее голубовато-серые глаза были широко открыты, и, ожидая ответа, она даже чуть приоткрыла ротик, показав ровные белые зубки — сознательно показала, чтобы я знал, какой она бывает в минуту... Ну, в ту самую минуту. Все это я увидел, все понял и, заглянув в себя, в самую глубину, с облегчением убедился — пусто.

— Боюсь, — ответил я после некоторого молчания.

— Она где-то рядом?

— Она всегда рядом.

— Совсем-совсем? — Слова совершенно невинные, но только после вопроса я понял, что чем-то ее заинтересовал.

— На расстоянии вытянутой руки.

— И моя смерть тоже... На расстоянии вытянутой руки?

— Ваша чуть подальше... На расстоянии вытянутой ноги. А ваши ноги, как я заметил, достаточно длинные.

Девушка рассмеялась, я тоже изобразил лицом нечто напоминающее улыбку, чтобы не показаться уж совсем круглым идиотом.

Кроме девушек и меня, на пляже никого не было.

И Дом творчества писателей тоже был пуст.

Нет здесь писателей.

А говорят, в прежние времена сюда ломились инженеры человеческих душ, за каждое место дрались, за полгода заявки подавали, секретаршам конфеты носили коробками, чтоб понравиться, чтоб запомниться. Куда они все подевались?

Их тоже было много?

На их челне...

Иные что-то создавали, иные в море заплывали, а чаще просто поддавали.

Девушка почему-то настойчиво спрашивала о смерти, зацепило ее словцо, брошенное без всякой задней мысли. Неужели догадалась, неужели почувствовала, что от меня просто несет вонюю смерти?

Может быть, может быть...

Меня сейчас могут искать на Багамах, Канарах, даже на Ямайке. С единственным стремлением — убрать. Но не в Коктебеле же... Не в сентябре же, когда опустевают пляжи, шашлычные, горные тропы и прибрежные воды. После летнего многолюдья, после круглосуточных загулов, когда ночи напролет земля содрогалась от грохота

оркестров, визга женщин, осатаневших от безнадзорности...

После всего этого саднящая тишина кажется невыносимой.

Девушка больше ни о чем не спрашивала. Она произнесла все, что требуется в таких случаях, даже больше. За дальнейшими ее словами уже шла бы навязчивость.

Еще раз прислушался к себе, всмотрелся в темные свои глубины.

Печальная опустошенность.

Такое состояние бывает после затяжной болезни, когда однажды утром просыпаешься слабым, немощным, похудевшим, но здоровым.

Я поднялся, сунул ноги в шлепанцы, поднял рубаху и поволок, поволок ее по горячей гальке к выходу. Камни сухо поскрипывали под ногами, рядом шелестела неспешная волна, от Карадага дул теплый ветер, настоящий на осенних травах. Где-то рядом ощущалось присутствие людей, слышались негромкие голоса, призывный южный смех, но меня эти звуки несколько не затрагивали.

И вдруг охватило острое ощущение — вокруг сентябрь, вокруг Коктебель, а я здесь один, обдуваемый ветром с гор. Загорелый, отощавший, пустой. И эта пустота была приятна, как и солнечный ветер, как и легкая волна на темно-синем море.

К сентябрю Коктебель остывал, и появлялась в нем почти непереносимая привлекательность. Камни уже не были столь горячи, и полуденный зной становился вполне терпимым. Хотя по опустевшим дорожкам все еще бродили красавицы, но уже не летние, другие, чуть остывшие после лета, после жизни, полной чего-то несбывшегося, — они все выглядели так, будто у них что-то важное не состоялось.

Все мы немного поостыли, поуспокоились, поубавилось желаний и куражу. Но то, что в нас осталось, то

малое, что сохранилось, вдруг заострилось, наполнилось неутихающей жаждой доказать свое, остаться правым или хотя бы выжить и уже этим доказать свою правоту, в чем бы она ни заключалась.

Уж не я ли единственный и остался? Не исключено, не исключено... Я да вот еще некто, который шастает сейчас где-то по Багамам или по Канарам, сунув руку в карман и сняв предохранитель. Его глаза за темными очками прищурены бдительно и настороженно — он рассматривает меня.

Удачи тебе, дорогой.

Не обознайся, не промахнись.

За себя ручаюсь — не обознаюсь. И не промахнусь.

И вдруг в мое самодовольное благодушие вошла тревога, беспокойство. Что-то было не так, что-то нарушило улыбчивое перебирание событий недавнего прошлого.

Я подошел к парапету, положил ладони на горячий бетон, взглянул на море, пошарил взглядом по берегу.

Внизу на камнях увидел девичье лежбище — несколько минут назад я был там. Девушки заметили меня, одна из них помахала тонкой загорелой рукой. Я ответил, она улыбнулась и пошире раздвинула ножки, впуская в себя солнце. Вот видишь, как бы говорила она, я не только снаружи, я и внутри вся залита солнцем, у меня и внутри все горячо, свежо и коктебельно. Она хотела убедиться в том, что я вижу ее раскованность и готовность.

Пристальнее взглянув в себя, я убедился еще раз — пусто. Пустота, пронизанная опасностью.

Я понял — меня можно вычислить.

А если можно, то уже вычислили.

Однажды, в хорошем уже состоянии, когда все мы были на одном челне и нам не было тесно... В грузинском ресторане, недалеко от станции метро «Проспект Мира»... Да-да, это случилось именно там, выходишь из метро — и налево... На столе стояло много шампанского,

у нас всегда было много шампанского... Фирменный напиток. Серебряные ведерки, забитые кубиками льда, из них торчат серебристо-зеленые горлышки, все счастливы и расслаблены — удалось, получилось, состоялось. И я произнес слово «Карадаг». Не помню, по какому поводу, просто всплыло из глубин организма, добралось до языка, и глупый язык проговорил это словцо.

Карадаг.

Так вот, если кто-то это словцо вспомнит...

То у меня нет убежища.

И я сейчас, как вошь на гребешке, — виден со всех сторон.

Скользнув взглядом по шербатым вершинам Карадага, я спросил себя: будешь удирать? И ответил себе — нет. Если последние наши выстрелы прозвучат здесь — так тому и быть. Нет сил снова куда-то нестись, менять самолеты на пароходы, острова на материки, горы на равнины. Нет никаких сил. А если уж откровенно, то и некуда. Мир, оказывается, не так уж и велик. Места, где ты хочешь жить, можно перечислить по пальцам. Где-то в Греции найдется уголок, в Испании... Есть в запасе юг Сахалина...

Пусть шумят волны, дует с гор теплый ветер, настоящий на горькой крымской полыни, пусть набережная с каждым днем становится все безлюднее, пусть остывают камни парапета, мутнеют волны. Татары и узбеки, азербайджанцы и армяне уже закрывают шашлычные, чебуречные, хачапурные и прочие дерьмовые свои забегаловки. Шашлыки разогревают по несколько дней, пока не купит какой-нибудь дурак, ошалевший от столовских харчей. И чебуреки давно превратились в подошвы, но торговцы продолжают их поджаривать и зазывать простодушных отдыхающих. В разговор с торгашами лучше не вступать — тут же начинают восторгаться Басаевым, Радуевым, Хаттабом, тут же с не-

понятным остервенением начинают материть русских. Ну и ехали бы жарить шашлыки к Басаеву, попробовали бы угостить своими чебуречными ошметьями Хаттаба...

Чужие люди.

А как тогда лилось шампанское! Какие счастливые брызги окропляли застолье! Как прекрасен был мир, распахнувшийся вдруг перед нами во всем своем великолепии! Он и сейчас не хуже, этот мир, но нет сил восторгаться им, принимать от него дары великодушные и бесценные. И уж нет тех людей, которые восторгались этим миром так искренне, так радостно и ошарашенно.

Погиб и кормчий, и пловец...

Или певец?

А может, подлец?

Меня легче узнать — я длинный. Моя голова всегда над толпой. Мой затылок уязвим для любого стрелка. Единственная надежда — он глупее.

И знает это.

И потому опаснее.

Он не будет искать удобный момент, подыскивать пути отхода, выбирать время суток, когда выполнить черную свою работу уместнее всего. Просто всадит мне три пули между ухом и виском, а потом спокойно шагнет в кусты, чтобы отлить. Он прекрасно знает, что здесь, в Коктебеле, ему нечего опасаться. Забросит пистолет в залитый водой строительный котлован, выйдет на дорогу и на первой же попутке рванет в Феодосию. Или в противоположную сторону — в Судак, Ялту. И не задумается даже — куда лучше, куда безопаснее. Не будет готовиться и колебаться. Да, он непредсказуем. Я уже слышал об этом — отправляясь на задание, он мог остановить машину, которая шла в нужном направлении, мог сесть в машину, которая шла в противоположную сторону, — и заходил с тыла.

Я его никогда не видел, ничего о нем не знаю, кроме одного — он всегда выполнял порученное. Даже когда заказчик уже был мертв. Кодекс чести. Если взял деньги, работу надо выполнить. Похоже, любит свое дело и даже получает от него удовольствие. Я не знаю его имени, возраста... Мужчина ли он? Женщина?

Оказывается, и это мне неизвестно.

Загорелые девочки легкой стайкой пропорхнули мимо. Та, которая выбрала меня, помахала рукой. Я ответил таким же взмахом. Она улыбнулась. Красивое, дерзкое лицо, хорошая осанка. В порядке девочка. И спереди, и сбоку, и сзади. Так бывает нечасто. Ее подруги засмеялись, оглянулись — видимо, было что-то между ними обо мне сказано... «Смейся, смейся громче всех, милое создание. Для тебя веселый смех, для меня — страдание».

Опять заглянул в себя, прислушался.

Тихо и пусто. Почувствовал себя неуязвимее. Я всегда становился слишком уж зависимым, когда связывался с такими вот... Солнечными.

Часы на руке пискнули два раза — значит, время обеда. Громыкнул запор столовой Дома творчества, и на пороге возникла Наташа — хулиганистая, доброжелательная, которая в свое время кормила всю советскую литературу, всех классиков, лауреатов, секретарей, главных редакторов. И надо же, всех помнит, о каждом может рассказать забавную столовскую историю.

— Кушать подано! — сказала она громким голосом, оповестив пустую, раскаленную под полуденным солнцем площадь, за которой посверкивало мелкой рябью море.

И я шагнул в полумрак пустого зала. Когда-то здесь невозможно было протолкнуться — гудели честолубивые, возбужденные голоса самых знаменитых людей страны. Да, их было много на челне. Иные парус напрягали, иные пузыри пускали. Их монументальные жены

и юные любовницы, понавезшие нарядов со всего света, не знали, где все это барахло показать.

Показывали в Коктебеле, на этой площади, в этой столовой.

А сейчас... На всем затемненном пространстве столовой я увидел лишь Андрея — какой-то полубанкир, полукиллер приехал отдыхать из Днепропетровска. Мордатый, молодой, замедленный, с молчаливым ироническим пониманием о себе и об остальном мире. Нас рассадили в разных концах зала, словно поместили нами размер громадного помещения. Мы поняли друг друга с первого взгляда. Мы были из одного племени — из обреченных.

Кажется, он тоже спасался. В его глазах я увидел ту же пустоватую печаль понимания, которая, наверное, была и у меня. Солнечные девочки клюют на такие взгляды. Они, глупые, видят совсем не то, что есть, они видят бесконечное, уверенное в себе спокойствие, обеспеченное круизами, лайнерами, островами и прочими прелестями, недоступными для них и потому особенно желанными.

Ошибаются.

Это не спокойствие.

Это пустота.

Когда-нибудь поймут, чуть попозже, чуть попозже, как говорит один мой знакомый следователь прокуратуры. Поймут, когда ничего уже нельзя будет исправить, когда их судьбы приобретут устойчивую необратимость. Впрочем, я не уверен, что им захочется что-либо менять. Канары, круизы, казино... Засасывают и лишают человека естественных, выверенных тысячелетиями ценностей.

Это я уже могу произнести совершенно уверенно.

На первое был суп. Прозрачная жижица с кружочками жира и зелеными пятнышками петрушки. Выхлебал

охотно и даже с удовольствием. На второе — котлета с каким-то неузнаваемым гарниром. Съел только котлету. На третье — компот розового цвета.

Окна со стороны моря так густо заросли диким виноградом, что только изредка в них можно было увидеть просвет. Полумрак создавал ощущение прохлады и свежести.

— Как обед? — спросила Наташа, проносясь мимо с тележкой, на которой позвякивали пустые тарелки.

— Отлично!

— Добавки?

— Нет, спасибо. Чуть попозже.

— На ужин рыба.

— Буду ждать с нетерпением, — заверил я.

Меня вполне устраивало такое питание. Возникло ощущение, что благодаря убогости питания во мне что-то очищалось, шел какой-то благотворный процесс, сути которого я еще не понял. Но сознавал — что-то во мне происходит, идут какие-то непонятные, но желанные превращения.

Одно из окон столовой было свободным от зелени — то ли не успело зарости, то ли его очистили, чтобы хоть немного осветить сумрачный зал. Через это окно я и увидел человека, до боли, до ужаса знакомого мне. Я бросился к выходу, пронесся среди столиков, выскочил на площадь. Но после полумрака зала оказался ослепленным и некоторое время беспомощно стоял в дверях, не в силах сдвинуться с места. Мелькнувшего мимо окна человека я догнал уже за рестораном «Богдан». Некоторое время шел за ним, потом положил ему руку на плечо и круто развернул к себе.

— Привет, Вася! — сказал я и тут же понял, что обознался.

Это был не он, не Вася.

Вася давно мертв.

— Извини, — я виновато развел руки в стороны.

— Бывает, — ответил незнакомый, чужой, ненужный мне человек. Но не улыбнулся, не простил. Похоже, я его напугал.

Когда я вернулся в сумрак столовой и подошел к своему столу, полубанкир Андрей из дальнего конца зала успокаивающе помахал мне полноватой рукой. Дескать, не переживай, бывает. И только тогда я сообразил, что свой обед уже съел и сюда мог не возвращаться.

— Добавки? — снова спросила Наташа.

— Нет, спасибо. Я за плавками вернулся. Плавки за-
был на стуле.

В это время даже сентябрьское солнце выжигает с пляжа, с набережной самых отчаянных, самых стойких. На море частая рябь, с Карадага теплый ветер, в киосках полуживые от зноя девочки покорно досиживают оплаченное время. Ни пива, ни газет в это время никто не покупает. Какие покупки — выжить бы! Первые торговцы устанавливают в узкой пока еще тени фанерные щиты, расставляют на них картины, безделушки из раковин и камней, уже знакомый мне старик с седой бородкой расположился у каменной стены «Богдана» с красной, похоже, выточенной из кирпича безрукой Венерой.

Закрыв глаза, почти на ощупь, почти раздвигая руками обжигающие солнечные лучи, я направился к себе, в девятнадцатый корпус, в одиннадцатый номер. Раньше здесь позволено было останавливаться только классикам, имена и портреты многих из них красовались даже в школьных учебниках. Моего портрета в школьных учебниках нет, но кое-где, тоже в типографском исполнении, он имеется в наличии, и серьезные ребята всматриваются в мои глаза настороженно и опасливо. Они надеются, что я умер, но сомневаются. И правильно делают — никто не видел моего трупа. Я его тоже не видел.

На весь корпус нас трое — какой-то молодящийся тип с редкими волосами, выкрашенными в рыжий цвет, инакомыслящий еврей из Нью-Йорка, что-то находящий для себя на этом полудиком берегу, и я — личность без определенных занятий, без багажа, но с деньгами. О том, что я с деньгами, шустрые торговцы прознали на следующий же день и теперь наперебой предлагали мне кольца с местными камнями, фотографии Карадага, керамические подсвечники, пучки целебных трав. Похоже, всех их сбила с толку пустота в моих глазах. Они приняли ее за состоятельность.

И надо же, не ошиблись.

Войдя в прохладный полумрак номера, я закрыл дверь на два оборота ключа, потом закрыл дверь из прихожей, задернул шторы. И только тогда почувствовал себя в безопасности.

— Боже, как хорошо, — выдохнул я, падая раскаленным на солнце лицом в прохладную подушку. — Как хорошо...

Звуки, казалось, исчезли, расплавленные зноем. Сквозь вибрирующие струи воздуха лишь изредка пробивались негромкие голоса, ленивый лай собак, визг ошастливленной чьим-то вниманием женщины.

У уличных пробок много недостатков. Тягостное ожидание, рев и вонь перегретых моторов, нервозность, которая как бензиновые испарения пропитывает застывшие в злой беспомощности машины, пустая потеря времени, кажется, лишаящая тебя последнего шанса в жизни. Ты уверен, что, не попади в эту вот пробку, все в твоей судьбе повернулось бы иначе — с обилием радостных встреч и счастливых находок. А теперь вот не будет ни встреч, ни находок, и вообще жизнь пойдет вкривь и вкось.

Много недостатков в уличных пробках — от сгорающего бензина, вместе с которым сгорают твои деньги, до

раздраженности, которая наполняет тебя доверху. Кажется, она стекает по тебе потом, и даже рубашка твоя взмокла от этой человеконенавистнической раздраженности! И кто знает, сколько часов, сколько лет, в конце концов, пройдет, прежде чем ты избавишься от нее и сможешь вздохнуть легко и освобожденно, будто вышел за тяжелые ворота тюрьмы, где томился долго и несправедливо.

Но есть, есть и нечто положительное в этом гнетущем ожидании рядом с перегретым мотором и дергающимся водителем. Хочет того человек или нет, а слова он произносит, слова не только разумные, не только осторожные да продуманные, — всякие слова, разные.

— Москва, она и есть Москва, — негромко произнес пассажир, невидяще глядя в пыльное ветровое стекло, за которым не было ничего, кроме раскаленного воздуха да вздрагивающих от нетерпения машин.

— Это чем же тебе Москва поперек горла стала? — не глядя на него, спросил водитель, чутко уловивший в словах пассажира неприятие города.

— Поперек горла вроде как ничего не стало... А вот поперек дороги... Сам видишь.

— У вас, конечно, лучше, в вашем тмутараканском ханстве? — раздраженно спросил водитель — тощий, фиксатый, небритый.

— Гораздо, — ответил пассажир.

— Везде хорошо, где нас нет.

— Там, где мы, — тоже хорошо.

— Да?! — резко обернулся водитель, опять уловив какое-то унижение. — А где мы — там плохо?

— Как скажешь, — усмехнулся пассажир, выиграв эту маленькую перебранку. Понял это и водитель.

— А пошел ты на фиг! — сказал он и сплюнул в открытое окно.

Они застряли как раз напротив Института Склифосовского. Машины шли в обе стороны, разворачивались,

гудели, над некоторыми уже поднимались прозрачные облачка пара. Проспект Мира почти ничего не отсасывал из этой пробки, со стороны Сретенки, от «Детского мира», с каждой зеленой вспышкой светофора поступали все новые вливания раскаленных машин — бился своеобразный пульс городской жизни.

Пассажир озадаченно посмотрел на водителя, выпятил вперед губы, как бы огорченный откровенной грубостью, несдержанностью собеседника, и принялся рассматривать внутренность машины, уделяя внимание всем тем мелочам и подробностям, которые нисколько не интересовали его минуту назад. И вдруг взгляд пассажира остановился на карточке водителя в пластмассовом конвертике. Там значилась фамилия — Здор.

— Так ты — Здор? — спросил он с улыбкой.

— Ну.

— Здорово!

— Это что же тебя так распотешило?

— Первый раз встречаю такую фамилию.

— И последний, — с некоторой горделивостью произнес водитель. — Больше таких нет. Я один — Здор.

— А дети?

— И дети тоже Здоры.

— Или Здорята?

Водитель пожал плечами и тронул машину с места. Проехав метров пять, он опять вынужден был остановиться, оперевшись в широкий зад «пятисотого» «Мерседеса».

— А в той машине наверняка кондиционер, прохлада и полная тишина.

— Там есть еще бар с холодильником, — усмехнулся водитель. — Чтоб они все посдыхали!

— Зачем? — пассажир пожал плечами. — Хорошие ребята. Деловые, четкие, обязательные. Держат слово, не позволяют другим расслабляться. Хочешь такую?